

СВЯЩЕННИК НИКОЛАЙ БЛОХИН

Рубеж

ХРИСТИАНСКАЯ ПОВЕСТЬ
О СОБЫТИЯХ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



Священник Блохин

Рубеж

«Издательские решения»

Блохин С. Н.

Рубеж / С. Н. Блохин — «Издательские решения»,

Повесть священника Николая Блохина о переломном рубеже в нашей трагической русской истории — 22 июня 1941 года — и последующих за ним тревогах и событиях предстает перед читателем в новом переиздании. Это некая квинтэссенция трагедии в лицах: Гитлер, благородно принимающий белого офицера, вставшего на сторону Красной Армии, Сталин, находящийся в глубоком внутреннем монологе и раздумье о надвигающейся нацистской туче, простые русские защитники родины, стоящие на страже земли Пресвятой Богородицы...

© Блохин С. Н.

© Издательские решения

Рубеж
Христианская повесть о событиях
Великой Отечественной войны
Священник Николай Блохин

© Священник Николай Блохин, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



Полковник Ртищев ненавидел большевизию до звона в ушах. Всю жизнь с ней воевал, но никогда не думал, что придет время и воевать ему с ней придется в германском мундире, который он ненавидел больше даже, чем большевизию с той еще войны. Двадцать лет назад раненый, задерганный, нищий и опустошенный пробрался он из Константинополя в Берлин. И ужас отстрельной эвакуации из Севастополя казался тогда меньшим, чем частоколы всяческих кордонов, карантинных, консульств, моря справок, виз и кормящихся ими чиновников на безвыстрельном продираньи из Константинополя в Берлин. Тогда окончательно понял, как ненавидит Запад русских. Всех. И вот теперь, с германскими войсками, в германском мундире,

он возвращается на Родину освободителем ее от большевизии, возвращается в качестве главного переводчика и советника при командующем ударной IV-й танковой группы, генерал-полковнике Эрике Гепнере. Когда, преодолевая отвращение, одевал ненавистную форму первый раз, все же мелькнула мысль: «Однако удобная форма у тефтонов и весьма рациональная...»

Уже разгоралось дивное утро самого длинного в году дня, сменяющего самую короткую ночь. Через полчаса будут разом заведены все 1200 моторов IV-й танковой группы, раньше нельзя, рано будить сладкоспящих по ту сторону границы. А за пять минут до танкового взрыва на спящих полетят бомбы с «Юнкерсов», которые тоже, пока молча, в страшной тесноте, касаясь друг друга крыльями, выжидали рядом с танками.

Поежился Ртищев, оглядывая скопище техники и молчаливую массу солдат в ненавистных мундирах (говорить и курить запрещено), в который и сам был одет:

– А ведь если сейчас с той стороны взлетят «Иль» и полетят снаряды из тяжелых гаубиц!.. Ой!.. Ни один из заправленных «Юнкерсов» даже завестись не успеет, а огненные ошметки от того, что здесь сгрудилось, до Берлина долетят...

И, оглядывая все это сгрудившееся, даже гарантированные заверения мощнейшей в мире разведки, что, мол, не взлетят и не полетят, ибо безмятежно спят – не успокаивали. Сейчас, глядя на открывавшийся за мелкой рекой однообразный зеленый ковер леса до горизонта, которого он не видел 20 лет, он ощутил от расстилавшегося лесного безветрия вдруг некое дуновение на душу, от которого защемило в ней тоскливым довеском к мундирным страданиям – ему стало остро жаль тех, кого он идет освобождать, которых через полчаса на куски будут рвать германские бомбы и давить германские танки, в одном из которых будет сидеть он, русский освободитель в германском мундире. Эти сентенции начали одолевать его, когда еще сюда ехал, но он отгонял их беспощадно, твердя себе, что едет помогать громить войско большевистское, а не народ и ради освобождения народа пропрет он в гепнеровском танке до Москвы и лично сорвет красную тряпку с купола Большого Кремлевского Дворца. Оказывается, не отогнал одолеваний. Еще одно неприятное сравнение пришло на ум: те, кто захватил власть над раскинувшимися за пограничной речкой просторами, ехали захватывать ее в германском пломбированном вагоне, а отвоевывать ее у захватчиков он едет в германском танке. И давит, не дает покоя тревожная мысль, что эти просторы всегда против как захватчиков, так и освободителей в иноземных транспортах с чужой земли...

– Вы ведь бывали в этих местах, полковник?

Обернулся на голос – перед ним стоял генерал-полковник Гепнер. Вытянулся в струнку и ответил, отдавая честь:

– Да, герр генерал. И вы это знаете. И именно в этом месте, 25 лет назад. Только стволы моей батареи были направлены в другую сторону.

– А моей – как раз туда же, куда и сейчас, – генерал усмехнулся. – И тогда дальше этого рубежа мы так и не продвинулись.

«Скажи спасибо, что мы вас тогда в Берлин не продвинули, в Ла-Манш не затолкали...» – вот так хотел откомментировать генеральские слова Ртищев, но вслух сказал с глубокой горечью:

– Тогда мы были непобедимы, и если бы не революция...

– Увы, полковник, – перебил Гепнер, – «если бы, да кабы» в истории не проходит. Нашим «если бы» я ведь не аргументирую, а оно у нас, немцев, такое же – наша революция, уж без нее точно б мы Версаля избежали. Увы, рыли яму другому, сами в нее попали. Вы меня хорошо обучили вашим поговоркам. А с чего вы решили, что вы были тогда непобедимы? Думаю, что ваша непобедимость, на нашем месте – два фронта перед собой, которые мы имели – вряд ли бы выдержала.

– Ну почему же, были времена, что перед нами бывало не два, а двадцать два фронта, ото всех сторон отбивались, и – отбились. В том числе и от тефтонских рыцарей, уж простите.

А непобедимость наша, она была не в количестве тяжелых орудий, которых у вас было в три раза больше, когда мы, вот в эти дни громили вас в шестнадцатом.

– Так в чем же? – генерал Гепнер недоуменно воззрился на полковника Ртищева. И его серьезный, жесткий взгляд требовал понятного ответа и без обиняков, в немецком духе, потому что уж больно странным стало вдруг изменившееся лицо полковника Ртищева, когда он говорил последние слова своей недоговоренной фразы.

Ртищев договорил недоговоренное по-немецки, но не в немецком духе:

– Непобедимость наша была в резерве нашем неисчерпаемом войска небесного, которое не нуждается в артподготовке тяжелыми орудиями.

– Какого войска? – недоумение очень усилилось в глазах генерала Гепнера.

– Небесного.

– И как же оно воюет без артподготовки? – усиленное недоумение в глазах Гепнера сменилось на ироничную ухмылистость.

– А воюет оно отменно. Это вы могли 25 лет назад почувствовать на собственной... простите...

– Шкуре? – улыбаясь досказал Гепнер.

– Я подыскивал другое слово.

– Мы солдаты, полковник, не надо искать других слов, если их нет. А я своим вопросом не хотел задевать вашу религиозность, поверьте.

– Да нет у меня никакой религиозности! – тяжело выдохнул Ртищев. И в этом выдохе, будто в одном звуковом комке соединились досада, растерянность, злость, тоска и жалость к себе. – Начинаешь понимать что это такое, увы, когда все рушится. «Что имеем – не храним, потерявши – плачем». Этой поговорке я вас тоже учил. У немцев есть ей аналог?

– Есть: «Когда поджег свой дом, нечего на огонь пенять».

– Ваш аналог жестче и конкретнее нашего.

– А у нас, немцев, все жестче и конкретнее, чем у других народов. Однако мы и сентиментальнее других народов. А вы – всех религиознее. М-да... Удивительное дело получается: самый сентиментальный и самый религиозный народы создали две самые лучшие армии мира и в течение четырех лет с их помощью и переменным успехом истребляли друг друга. Через двадцать пять лет ситуация повторяется: две самые лучшие армии мира снова противостоят друг другу, – Гепнер сgrimасничал губами, пристально глядя на Ртищева. – Не кажется ли вам, полковник, что крепость нашего союза всегда ломает некто третий, а мы идем на поводу у него?

– Не кажется, а – есть! Но сейчас вы идете освобождать мой народ от заразы, как бы ни играла на этом третья сила!

– Спокойно, полковник, не стройте иллюзий. Я солдат и иду по приказу громить войско, – Гепнер кивнул головой в сторону близкой границы. – Да-да, я обязательно буду придерживаться ваших рекомендаций: храмы открывать, колхозы закрывать. Кстати, насчет колхозов у фюрера почему-то другое мнение: упористых коммунистов, которых по-вашему практически нет – к стенке, не упористых – вливать в свои ряды, а в качестве акта покаяния заставлять публично съесть свои партбилеты. На сей акт покаяния жду приглашения в качестве почетного гостя. Ваши рекомендации уже оформлены в мою директиву для соединения, которым я команду. И командующий группы армий, в которую оно входит, генерал-фельдмаршал фон-Леоб тоже принципиально со всеми вашими предложениями согласен. В своем тылу лучше иметь население, которое вилами копнует сено, а не целится тебе ими в спину. К тому же я не считаю предстоящего противника колоссом на глиняных ногах.

– Ну, если глину правильно приготовить, из нее очень неплохие ноги получатся для любого колосса.

– Наверное так, не разбираюсь в глине, но я разбираюсь в танках. И я знаю!.. – генерал Гепнер сделал очень значительную паузу и глазами посверкал. – Что если после удара нашей

авиации и высадки десанта против моих жестянок останется хоть десятая часть ваших монстров Т-34 и КВ, всей моей танковой группе, как у вас говорят – крышка! Любовый бой с ними – смерть для нас! Передо мной не колосс на глиняных ногах, а сильнейшая армия мира с лучшими в мире танками!.. – выкриком прозвучало, и Гепнер сам удивился своему выкрику.

И тут же остыв, добавил почти спокойно:

– И единственное, что обеспечит успех – внезапность. Перебить моими жестянками глиняные ноги, обходя скопления русских броневых монстров. Если десант их захватит, я с удовольствием выкину свои жестянки и въеду в Москву на Т-34, – и, после паузы, отведя взгляд от полковника в сторону границы, угрюмо добавил: – А вообще мне тревожно... хотя храп спящих, согласно разведке, должен быть здесь слышен. И погода даже более чудная, чем в моей Баварии.

Ртищев еще более угрюмо ответил:

– Всем тревожно перед вторжением в Россию. И погода здесь меняется резче, чем в Баварии, – и далее тоном, которым не говорят с начальствующим генералом, спросил: – И почему это, герр генерал, вы назвали этих броневых монстров, как вы изволили выразиться – моими, употребив термин «ваших»?!

– Успокойтесь, полковник, – с ироничным вздохом сказал Гепнер, снова глядя в глаза Ртищеву. – Увы – ваших! Все ваши терзания на вашем лице терзаются, не спрячешь. «Как волка не корми...» – сами учили, уж простите. И я вас вполне понимаю и больше этой темы не касаюсь. И, закрывая тему, скажу вот что: если мне последует приказ, идущий вразрез с вашими рекомендациями, я забуду про них и буду выполнять приказ.

Друг против друга стояли два солдата-одногодка, не один год уже знавшие друг друга. И только вот сейчас между ними возник, вспыхнул вопрос, который не мог не вспыхнуть, обязан был разрешиться и обречен был остаться не разрешенным. Взгляд на взгляд, глаза на глаза, ствол на ствол, «Мосин» против «Шмайсера», и никогда им, обнявшись ствол к стволу, не смотреть в одну сторону...

– Эрик! Против любого государства, любой власти, которой властвуют на русской земле можно воевать, но нельзя воевать с русским народом, это обречено для всех.

– А ты на меня глазами не сверкай! Цитирую твое недавнее определение, почти дословно: «Россия без Христа есть укреплагерь вооруженных разбойников, а русский без Христа – чудище облое.» Так? Подтверждаешь?!

– Так. Подтверждаю. Но по моим данным, жив еще мой поп полковой. И, значит, на его защиту встанет то самое воинство небесное. Это войско всех святых в Русской земле просиявших. Сегодня, кстати, их день. А во главе их – Полководец, стоящий всех маршалов мира вместе взятых – это Царица Небесная, заступница Российская. Прошу прощения за срыв, герр генерал.

– Да все в порядке. Однако... поп полковой... Что, из-за одного попа, не известно живого или нет, войско встанет? Ну, все святые в вашей земле просиявшие, ну ладно, они, вроде ваши домашние, но с чего вы решили, полковник, – Гепнер вновь был невозмутим и корректен, – что как вы Ее назвали, Царица Небесная, что Она уж прямо так только «за вас»?

– Это не я решил, – Ртищев вдруг широко, по-детски и неожиданно для самого себя улыбнулся. – Это Она Сама так решила.

– И чем же Она руководствовалась в Своем выборе?

– А разве можно с таким вопросом приступить к Матери Христовой?

– Ну, чем же вы заслужили такое Ее покровительство?

– Да ничем мы его не заслужили! Нету никаких заслуг перед небесами и быть не может! Все только по милости свыше. А милость – по молитве, – при последнем слове будто слегка задохнулся Ртищев, – которой у нас нет!.. Так вот, по хилой молитве нашей... нет!..

– Спокойно, полковник...

– Не перебивай, Эрик!.. прошу прощения, герр генерал... Нет, по молитве *одного* человека, Царя нашего, – с жутким надрывом прозвучало и кулаки сами собой сжались у полковника Ртищева, – тогда, в эти дни шестнадцатого, мы разгромили вас...

– Ну, в общем-то, потрепали нас тогда сильно, – генерал Гепнер взглядом ушел в себя, вспоминая. – Мою батарею отправили на юг для затыкания дыры, которую мы так и не заткнули. Было... Но, извините, удар наносил ваш конкретный Юго-Западный фронт, конкретной артиллерией, кавалерией...

Яростно перебил Ртищев:

– Удар наносило воинство всех святых в земле Российской просиявших! Во главе с Ней! Именно в тот момент, когда образ Ее, икону Владимирскую, по приказу Царя повезли на фронт. Из десяти ваших винтовочных выстрелов семь – осечки, а у наших – незаряженные стреляют! Все ваше трехкратное превосходство в тяжелых орудиях – одним залпом в ноль сведено! наших атакующих пули не берут, а ваши!.. тефтоны!.. от нашего крика уже в обморок падают! И все это только Она!..

– Спокойно, полковник. Вы в самом деле верите, что именно так было дело? – напряженно думая, Гепнер смотрел в глаза Ртищеву.

– Теперь – да! – отчеканил тот с таким надрывом, что Гепнер переспросил удивленно:

– Что значит «теперь»? А тогда?

Теперь воочию, будто на киноэкране, закрыв глаза, смотрел Ртищев на себя тогдашнего, а был он тогда весь из себя – усталая ирония: «Лучше б снарядов подвезли вместо этой иконы». Именно этот термин – «этой» тогда промотался по извилинам. Смутно извилины тогдашнего Ртищева знали про Владимирскую. Снарядов было в избытке, но в привычку вошло, в кровь въелось всех тогдашних ртищевых ругать любой шаг Верховной власти и ныть о ее постоянных ошибках, из-за которых того нет, сего нет. Ошибок не было и было – все. Снарядов, как уже было отмечено, хватало, но конкретный Ртищев ныл о том, что их должно быть больше. Соседней батареей командовал поручик N. Имя затерялось, ибо имя им тогдашним было – легион. Поручик N. не ныл, он сердито огрызался, он кричал в телефон попу полковому, что не потащит он на молебен службу своей батарее, на молебен ко Владимирской и всем Русским святым, что у него более важные дела есть, например, пушечку, из резерва подвезенную, лишней раз почистить, да и вообще лишняя стопка водки перед боем бодрит сильнее и в более нужном русле, чем молебны!..

Не мог видеть поручик N слез попа полкового на том конце провода и иронично-ухмылистого развода руками в стороны комполка, мол, уж, простите, батюшка, им там, на передовой, виднее...

Изрядно взбодрившись лишней стопкой и, не отвлекаясь на ненужное русло, пушечку, из резерва привезенную, хорошо почистили, и при первом выстреле снаряд, во врага направленный, в почищенном стволе взорвался и пушечка почищенная разнеслась в куски, ранив и контузив всю службу во главе с поручиком N...

Умиравший поручик N не мог говорить, он мог только стонать, плакать, дергаться, мычать и звать глазами. И, казалось, глядя на это безмолвное зывание, что именно так кричат глаза человека только что убившего свою мать: ответ перед законом держать неизбежно, но это не самое страшное – давит, убивает ужас содеянного, ужас груза безобразного: жизнь, которую она ему дала, он потратил на клевету на нее и склоки с ней. И упасть бы сейчас на колени перед ней, да нету уже ее, да и сам уже едва дышишь последними вздохами – поздно!.. И никто из рядом стоящих ничего не понимает – такие же, как и он. И крикнуть бы им сейчас: опомнитесь, братцы! да язык только мычать может – все поздно. А накрывающий его голову эпитрахилью поп полковой, омывший недавно слезами трубку телефонную, руганью наполненную, шептал ему на ухо, что пока еще дышишь – не поздно, что говорить не можешь и не надо – глаза твои вместо языка говорят.

Когда отошла эпитрахиль от лица умершего, на нем виделась одна только запечатленность, оставленная ушедшей из него жизнью: нечаянная радость – а мать-то, оказывается, жива!.. Но виделось это только тем, кому было чем видеть. Из обступивших умершего таких не было, поручик Ртищев и иже с ним вздыхали и ныли о том, что пушка была из некачественной стали...

– Полковник, ау!.. Что с вами?

Вместо таявшей перед глазами нечаянной радости выскультуривалось слегка испуганное лицо генерал-полковника Гепнера.

– Простите, герр генерал.

– Ну что же, будем считать, что я получил ответ на свой вопрос.

– А полный ответ на все твои вопросы – вон он, из бинокля видать, вот что мы заслужили за себя, за тех «тогдашних».

На высоком берегу речки, по ту сторону границы возвышались остатки пятиглавого храма-громадины без куполов, без крестов, черного от копоти, в выбоинах и с травой меж кирпичей.

– М-да, вид у него такой, будто по нему прямой наводкой... – сказал, Гепнер, опуская бинокль. – А ведь я помню его, 25 лет назад я вот так же смотрел на него в бинокль. Он был совсем другим. Красавец. И я в него не стрелял.

– Нашлось кому и без тебя, – тихо сказал Ртищев.

Именно в нем служил молебен поп полковой и звал и ждал поручиков Ртищева и N и – не дозволялся и не дождался.

– Герр генерал, я бы хотел, чтобы вы и сейчас в него не стреляли. Пусть он будет первым открытым храмом.

– А я и не собираюсь в него стрелять! У них там сейчас склад снарядов. 3000 штук. И я очень бы хотел использовать их по назначению, калибр подходит. Туда уже нацелен взвод десантников. И открывайте на здоровье эти развалины для культовых нужд вашего богоспасаемого народа, которого вы с моей помощью идете лечить от заразы. Правда, больные, судя по виду этих развалин, врача не вызывали. И не сверкай на меня глазами! Лучше подарок принимай.

– Подарок?

– Да, с этим ведь я и пришел. Тут мои разбойнички из седьмой дивизии вагон вскрыли из состава, оттуда идущий, – Гепнер кивнул в сторону границы, – исправно идут, согласно договору, все армейские подъездные пути ими забиты. Из-за них 200 моих танков на платформах в Белостоке застряли. А в том вскрытом вагоне... мои бандиты почему-то решили, что там водка, а там – одни иконы. Подарок фюреру от богоспасаемого народа... Да ты глазами не сверкай, а лучше подарок принимай из того самого вагона. Судя по сопроводительной бумаге, это та самая, о которой у нас речь шла.

– Они могут и ту самую продать... Да нет, копия, конечно, но с Нее и копии чудотворные.

– Дарю, пусть она будет твоя походная. Ну, а как полк своих набереешь, глядишь и попом полковым разживешься. Может и тем самым, раз говоришь, что живой он еще.

– Не может быть! – выхрипом отслоилось от губ Ртищева, когда он увидел икону.

– Что, знакомая?

– И даже очень, – прошептал Ртищев. – Коли дойдем до туда, водружу Ее на свое законное место... До Москвы дойдем, Эрик?

– Ну, а коли не дойдем, тогда вообще зачем идем?!

– Там храм есть, совсем рядом с Москвой, оттуда Она... Уже когда обрушилось все, того попа полкового туда определили. Я с фронта ехал, сто лет до этого не заходил... он силой затащил, первая литургия моя, которую не отмаялся, а выстоял по-настоящему... вот к Ней приложиться заставил, точнее, просто мордой ткнул в Нее. Там у него еще портрет Царский

был, призывал к нему прикладываться, он на отдельном аналое лежал, я тогда отказался... Царь-то жив еще был, еще даже не в Тобольске, а я, зараза, сердит был на него...

Почти ничего не понял генерал Гепнер из обрывистого ртищевского монолога, вздохнул только и хлопнул его по плечу. Уже шли над ними первые волны «Юнкерсов», начиненные бомбами и десантниками, пора было заводить моторы своих жестянок и начинать самое грандиозное, самое страшное сражение всех времен и народов.

– Да ну за что, гражданин следователь, за что?! Не понимаю!..

– Сейчас поймешь. Членом Союза воинствующих безбожников был?

– Почему – был? Я и не выходил вроде.

– Теперь все в твоей жизни – «был»! Теперь ты приплыл. А отплывают отсюда только в трюме баржи. Сам знаешь куда. Ибо, согласно директиве, сам знаешь чьей, – допрашивающий поднял палец вверх и многозначительно гмыкнул, – всем, кто в «Союз» вступал, а себя не проявил, всем в такие вот кабинеты допросные приплывать, а потом – на баржу.

– Да я!.. Да как – не проявил?! – допрашиваемый аж задохнулся от изумления и негодования. – Да я вот по этой стене, согласно приказу, с улицы с подъемного крана на тросе шаром двухтонным долбил!.. Тут же, это же... ну тогда ж тут это же Собором было!..

– Точно, был собор, а теперь – экам сбор, то бишь, тюрьма. А кабинетик мой, пра-альна, как раз и есть за той стеной, по которой ты долбил, – допрашивающий кивнул на полусбитое изображение на побеленной стене. – А и гляди-ка, его тоже забелили, а он все равно проступает. Не знаешь, кто тут нарисован, которого ты в спину долбал?

Допрашиваемый только плечами пожал, мельком взглянув на изображение на стене. Изображен был какой-то старик с крестом в руке. Вместо глаз пусто и страшно смотрели на допрашиваемого глубокие выбоины, будто зубилами выбивали. Такая же выбоина зияла в центре лба. Длинные одежды его все были покрыты пятнами – краска вместе со штукатуркой то ли сама отвалилась, то ли тоже отшибли. И только золотистый круг вокруг головы не имел ни выбоин, ни пятен и казался не поблекшим, скорее запыленным – протри сейчас тряпочкой и засверкает, будто только что выписали.

– Вот и я не знаю, – сказал допрашивающий следователь, закуривая, – чего там было написано вокруг головы, да сбилось, не поймешь теперь.

– Так замажьте, – буркнул допрашиваемый и вновь поднял глаза на изображение, теперь уже вглядываясь. И послышалось вдруг, будто бухнуло с улицы по стене, по спине изображенного, двухтонным шаром. А размах-то какой! Сама стрела двадцать метров, а раскачал, помнится, как! Аж зажмурился сейчас, представив, как вламывается сюда на него громила шар, вместе с разгромленной им сейчас стеной... не могла стена устоять. И тут две выбоины, бывшие когда-то глазами, ожили и будто в самом деле возник из воздуха и полетел на него от них, оживших, громила шар двухтонный. Едва не вскрикнул.

– Чего дергаешься? – усмехнулся следователь. – Я и говорю, старичок серьезный был, забелили, а ему и белила нипочем. Больше забеливать не стали. Он ведь, ха-ха-ха, и засадил тебя сюда! Ты на мой смех не тушуйся, я все время смеюсь, у меня и прозвище тут – Весельчак. Гы, весело с вами. Так вот, приехала на тебя телега, то бишь, сигнал от сознательного гражданина свидетеля поступил, что халтурил ты, когда старичка этого в спину долбил, ха-ха-ха, сознательно, так сказать, демонстрировал контрагитацию.

– Да и!.. Да как?! Да я!.. Да... – совсем потерялся допрашиваемый и даже кулаком стукнул по столу.

– Не надо «дакать», не надо «какать», не надо «якать», и по столу не стучи. Стучать надо было по стене как следует. А еще раз по столу стукнешь, по тебе постучат, хотя лично к тебе у меня нет почему-то никакой сердитости, но! – Следователь поднял палец вверх. – На сигнал надо реагировать. 58-ю так и быть, я тебе лепить не буду, хоть тут чистой воды 8-

й пункт – АСА (антисоветская агитация). Чистка вашего брата-безбожника на убыль идет, так что... повешу тебе просто халатность. Три года не срок. А может и амнистия будет, как-никак, а 20 лет нашей власти.

– Да какая АСА, какая халатность! – взъярился, забыв про страх, допрашиваемый. – А то, что потом снаряды не взорвали этот собор, ныне зэкам сбор?! Это тоже АСА, халатность? Вагон целый навезли, заложили! Это тоже я?! Вагон-то мой кран разгружал!

– Нет, это не ты, – на этот раз следователь не рассмеялся, а просто улыбнулся. – И это, конечно же, не халатность и даже не АСА. Чистейший экономический террор. Измена! И для тех 58-я вовсю уже работает. Пять расстрельных приговоров уже наработано. А идея хороша была: все бракованные калибром снаряды Химкинского завода не на полигоне взорвать, а в Соборе этом, чтоб, значит, не маячил в ближайшем Подмоскowie контрагитацией. Да его и из Москвы, небось, видать – до Химкинского моста рукой подать. И действительно, вагон завезли! Ну, коли столько браку в калибре, это, ясно дело, голимая экономическая диверсия. Так еще и не взрываются! Будто песком набиты, а не тротилом. И вроде проверяли, все в порядке там с химией, а вот – на тебе! Оч-чень чегой-то добавили, от чего взрывчатка песком стала. То-онкая диверсия. Уже и акт выписан, что снаряды эти до скончания веков безопаснее, чем мешки с песком, на них на костре картошку печь можно. И обратно вытаскивать их не стали, когда тут этнографическо-исторический музей атеизма устроили. Язык сломаешь. И какого сюда только барахла со всей страны не завезли! Ну, а когда мы сюда въехали, тоже ничего этого выбрасывать не стали, пускай лежит. А подвалы тут! И книги свезенные хранить, и на снарядах курить, и вас гноить – на все места хватит, ха-ха-ха!

– Да когда это было! – захныкал допрашиваемый. – Да знал бы... да давно б прибежал, да головой эту стену прошиб.

– Да, – вздохнул следователь, иронично усмехаясь, – давно это было, но, увы, не сплыло. У нас ничего не сплывает, у нас всё всплывает. Башкой об стену надо вовремя биться! Ха-ха-ха! А коль не вовремя, да при наличии сигнала, да своей башкой хоть линкор вражеский прошиби-потопи, все одно тебе сидеть. Так что, попал в струю – плыви в ней до окончания срока, или до амнистии. Бери-ка ты ручку, Варлам Михальч, и подписывай чистосердечное. Оно, вот, уже готово. Встать! – вдруг выкликнул следователь и сам вскочил: в дверях кабинета стоял неопределенного возраста человек в элегантном штатском, веский лбом, черен волосами и с тяжелой челюстью. С первого взгляда он гляделся лет на тридцать, но если рассматривать совсем близко (вряд ли сей человек кому-нибудь это позволял), особенно глаза, в которых сквозь огненную буйность взгляда проступала необратимая усталость и даже старческая опустошенность, вполне можно было подумать, что ему под 80, а, может и за 80. Вот такой разброс.

– Здрав-желам-тац-комиссар-госбезопасности!! – почти закричал следователь, улыбаясь во весь рот.

– Здорово, здорово, – тихо проговорил вошедший, почему-то внимательно разглядывая допрашиваемого. – Занят?

– Да нет, – весело отвечал Весельчак. – Готово уже. Последний из моей обоймы безбожников.

Пока новоиспеченного зэка уводили, буйновзглядие вошедшего не отцеплялось от него. Затем он сел на стул, на котором сидел тот, кого только что увели.

– Все веселишься, Весельчак?

– Так ведь, жить стало лучше, жить стало веселей! Ха-ха-ха!

Видно, давно привык Весельчак к той улыбке-гримасе, которая возникла на раздвинутых губах вошедшего. У всех прочих остальных первая реакция на сию улыбку была – зажмуриться, чтоб не видеть ее. На вопрос: что выбрал бы – день созерцания сего губного раздвижения вкупе с буйными глазками, или тот же день лес валить под Воркутой, очень мно-

гие бы избрали лесоповал. Здоровья лесоповал, конечно, убавит, но психика останется цела. Не у всех она непрошибаема, как у Весельчака.

Сдвинулись губы, сгинула улыбка.

– Значит, говоришь, последний из обоймы? Да еще и Варлаам... м-да... – пожевал сдвинутыми губами. – А ты знаешь, чье изображение у тебя за спиной?

– Не-а, – Весельчак повернулся к стене. – Как раз об нем с ним беседовали.

– И этот, значит, не знает, кого он железным шаром долбил? – на мгновение ожила губная раздвиженность и тут же сникла. – А это, между прочим, Варлаам Хутынский. Слыхал?

– Не-а.

– М-да... Варлаам Варлаама бил, Варлаам Варлаама посадил... А церковь эта в честь Владимирской иконы была. Не слыхал?

– Не-а.

– Ты знаешь, Весельчак, чем мы отличаемся от всех прочих народов, которых мы вскоре завоюем?

– Не-а.

– Твое чудное «не-а» будет тогда паролем. Засмеяться б мне твоим смехом, да не умею. А вообще ты восхитителен... А отличаемся мы – всем! – губная раздвиженность брызнула жутью, из глазок сверкнуло и опять все погасло, но «всем» прозвучало так, что даже Весельчак улыбаться перестал и спросил озабоченно:

– Что с вами, Зелиг Менделевич?

– Со мной – «всё»! – перед «всё», которое очень значительно прошипелось, из губной раздвиженности была еще более значительная пауза, что еще более усилило значительность звучания всей фразы.

Весельчак даже испугался слегка:

– Да что с вами все-таки?! Да не волнуйтесь вы, да что ж вы так?..

– На первый вопрос я уже ответил, на второй отвечаю – я никогда не волнуюсь. А, кстати, где икона Владимирской, что с Варлаамом рядом висела? Вот тут. Давно я тут не был.

Весельчак пожал плечами:

– Да кто ж ее знает, при мне уже ее не было.

– М-да, прозевал. Ну ладно, свидимся еще.

На недоуменный взгляд Весельчака довесил:

– У меня с ней свои счета. Портрет тут был еще царский... надо б закрома местные посмотреть... – вошедший встал, подошел к безглазому изображению Варлаама и забуравил его своим расстрельным взглядом.

Проговорил усмешливо:

– Эх, яростная молодость, где ты?.. Это ведь мои пули в его глазах, Весельчак. Ярости-то много было, если бы еще и ума, хоть с десятую часть той ярости, м-да. Двадцатый год нашей власти и последний год пятилетки безбожия на исходе...

На исходе, на пороге.

Каковы ж наши итоги?

Шепчет ветер на дороге:

«Всем итогам вашим, слышь,

Кукиш с маслом, то бишь, шиш!»

Продекламировано было очень выразительно, правда, буйство из глаз совершенно исчезло, одна старческая опустошенность осталась.

– Да ну уж, прямо-таки и шиш? Не совсем шиш, вы ж сами...

– Ну да, постреляли, повзрывали много. Но и взрывалось, как ты знаешь, не всегда, – и так сверкнуло из глаз, что Весельчак даже поежился, однако все же автоматически улыбнулся.

– Это вы об этой церкви, что ль?

– Ну, коли с тобой сейчас сижу, то об этой. Ни шар двухтонный, ни вагон снарядов не взяли.

– Да ну, случайность это, хотя и странно...

– Два события, Весельчак, приведшие к одному итогу, уже не являются ни случайными, ни странными.

Тут Весельчак улыбнулся своей всегдашней улыбкой:

– Да ладно вам, Зелиг Менделевич! А сколько десятков тыщ взорвали и взорвалось?

– Четыре. Четыре десятка тысяч с мелким довеском.

– Ну вот, ха-ха-ха, ну мелкие проколы вроде этого, ну что они на фоне десятков тысяч? Ну, Зелиг Менделевич, ну вы же мой учитель, вы же говорили всегда: при буром и не смотри на мелочи...

– Слушай, Весельчак, а ты когда пытаешь, тоже смеешься?

– Зелиг Менделевич, ха-ха-ха, учитель! Да вы ж знаете, что я не пытаю, хватает моего смехоголоса, как вы сказали. Неподписантов нет у меня.

– Ой ли? А не запомнил? – очень зловеще прозвучало.

– Ой, Зелиг Менделевич, да ну, та же мелочь, один из всей практики, да он уже расстрелян наверное.

– Да именно он, один, и должен был подписать всю ту чушь, что ты на него вешал! Любой ценой!.. Один из всей практики, ёк твои кок?! Все твои остальные подписанты – тьфу без него! И слова мои, как я учил тебя, не перевирай! Я говорил: при буром и *устраняй* каждую мелочь. А это означает, что если задумал что-то уничтожить, уничтожай до конца, дотла! Снаряды у них не взорвались? Эх, меня там не было... впрочем, чего теперь. Я, как ты знаешь, давно уже не чекист, а исследователь и звание мое комиссарское чисто формальное.

– Ой, Зелиг Менделевич, вот этого я бы не сказал.

– А ты ничего не говори, ты молчи, да слушай. Вот ты знаешь, на каком месте ты сидишь? Вот я и говорю, про мелочи болтаешь, а важнейшего не знаешь! А место это называется *святым*. И находиться на этом месте могут только дьяконы, священники и архиереи. Для остальных это место – табу! О, даже ты дергаешься, сиди как сидел. Что, кстати, тот твой, который единственный неподписант, бывший поп полковой, настоятель бывший этого храма, он тебе не говорил об этом? Ты же здесь его допрашивал.

– Не-а, не говорил... не помню, значит – не говорил. Он все стоял, крестился и на этого безглазого Варлаама смотрел, да слезу пускал.

– Вот-вот, перед безглазым слезу пускал, А когда ты его на третью степень мясникам своим отправил, после того, как смехоголос твой не подействовал?

– Кричал только, но не слезинки.

– Да и кричал-то он молитвы! Эх, молодежь!.. И ты уверен, что он расстрелян?

– Ну, увезли по назначению, согласно приговору.

– В исполнение приведен?

– А это уже не ко мне.

– Я к тому, что по моему приказу мои ревгусары его уже расстреливали в 17-м за монархическую агитацию: портрет царя, уже отрекшегося, на пузе держал на улице. Не достреляли, портрет пулю отвел. Вместе с портретом расстреливали, добить не получилось, белогвардеец один вмешался. Но я этого уже не видел. Больны были расстрельной лихорадкой...

Зелиг Менделевич грузно сел и устало призакрыл убойные свои глаза. Наврал он слегка Весельчаку: действительно не получилось, действительно белогвардеец вмешался (хотя само слово это появилось через полгода), но все это Зелиг Менделевич видел! Видел, драпая

со своими прыщавыми юными ревурусами, шутовски обвешенными пулеметными лентами и с маузерами, болтающимися на каждой ягодице, от одного разъяренного офицера фронтовика с наганом. Тот яростный блеск чудо-белогвардейских глаз, враз съевших революционную убойность, Зелиг Менделевич до сих пор помнит – иногда по ночам снятся, и очень неприятно потом весь день от такого сновидения.

Зелиг Менделевич вылез из своего персонального «Поккарда», яростно захлопнул дверь, и в который раз за свою жизнь проклял страну эту, где даже чудо техника американская глохнет и не заводится. Заодно и америкашек проклял, которые, видите ли, не предвидели такого мороза. Все надо предвидеть, имея дело с этой страной и народом этим. И тут же выругался и в свой адрес, ибо и сам за всю свою жизнь так и не научился предвидеть здесь все до конца. Давно ведь мог забрать и развезти по другим тайникам то, за чем сейчас едет. А едет он за сокровищами в виде камней, металлов, икон, окладов и прочего на сумму три миллиарда в царских золотых рублях. Никакому доллару-фунту никогда до того рубля не дотянуться. Одних золотых потиров в тех его закромах – 50 штук. Все это плод работы по изъятию церковных ценностей с 1921-го по 1923-й год, ну и прочих многочисленных последующих изъятий. Кое-что должно оставаться и здесь, и, конечно же, не в казне. И всё сосредоточил в одном месте! Опять выругался. И ведь всегда учил своих присных, что именно рассредоточение – основа основ хранения такой атрибутики. Правда, был для этого и повод – собирался в июне вывозить это на Запад и на тебе – сваливается на голову двадцать второе число. А не развез по тайникам, потому как «предвидел» (опять выругался), что досюда фронт никогда не дойдет. Знал, какая мощь приготовлена для встряхивания жирующего Запада. И сейчас ведь ничего не вывезешь, придется перетаскивать в другой подвальный склеп, о котором точно никто не знает и не узнает.

Столько с тем ненавистным храмом в жизни связано! Каждый раз, когда навевается туда, испытывает особенное беспокойство, которое сам не может понять. Пусть немцы входят, пусть храм открывают, пусть облазят весь его подземный город, на снарядах покурят, музейное барахло заберут, его сокровища – не найдут. Пусть Москву займут (теперь предвидел, что так будет), но, что они назад откатятся безо всяких потуг на предвидение – уверен был: статистикой колоссальной разницы весовых категорий противогерманского блока и Германии владел вполне. Предвидел, что снова храм лично он снова закроет, снова пусть Весельчак резвится на святом месте в алтаре и, вполне предвидел, что сам он увезет сокровища, куда задумано и они еще послужат тому, чего задумано. Сейчас, прокляв америкашек за не предвидение таких русских морозов, вдруг опять вспомнил слова попа того полкового с царским портретом, недорасстрелянного. Заставлял себя забыть эти слова, но не получалось. А слова вот какие: «Вам, несчастным, кажется, что вы властвуете в этом мире, но это, Слава Богу, не так. Вы всё можете просчитать, прознать, проконтролировать, всех и вся взять в свой оборот, кроме одного – промысла Божия и тех, кто уповаet на Него...» И царский портрет тот расстрелянным сейчас, в московском снеговале, увиделся, проступил, и – от портрета те же слова, хотя тот, кто на портрете, сам по себе расстрелян давно. А слова еще не кончились: «... Потому Святая Русь, населенная такими людьми, есть то единственное на земле, что вне вашей досягаемости».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.